

Содержание

От редактора

7

От переводчицы

9

Бледный огонь

Предисловие

17

Бледный огонь

Поэма в четырех песнях

Песнь первая

39

Песнь вторая

47

Песнь третья

61

Песнь четвертая

75

Комментарий

83

Указатель имен

347

От редактора

Замысел «Бледного огня» восходит к последнему незавершенному русскому роману Набокова «Solus Rex» («Одинокый король» — термин шахматной композиции), два отрывка из которого были опубликованы в 1940–1942 гг., сначала в Париже, затем в Нью-Йорке. Переехав в 1940 г. в Америку и перейдя на английский язык, Набоков отказался от мысли продолжать эту книгу, но отразил некоторые ее черты в своем первом американском романе «Под знаком незаконнорожденных» (1947).

«Бледный огонь», начатый сочинением поэмы, предварительно названной «The Brink» («Грань»), был написан в 1960–1961 гг. во Франции, Италии и Швейцарии, окончен 4 декабря 1961 г. и опубликован в следующем году в издательстве «G. P. Putnam's Sons».

Историю подготовки русского перевода романа изложил Геннадий Барабтарло, занимавшийся в то время вместе с Верой Набоковой переводом «Пнина» для издательства «Ардис»:

Алексей Цветков взялся переводить «Бледный огонь» в конце 1970-х годов для мичиганского частного издательства «Ардис» по ходатайству издателя Карла Проффера с согласия В. Е. Н., которой посылались на сверку части перевода. Она их тщательно корректировала,

будучи, как она писала мне, недовольна двумя главными чертами перевода (которые справедливо находила и в моих): вольностями (иногда вызванными недостаточным знанием американского английского языка) и неистребимыми советскими и провинциальными оборотами речи. Когда количество помарок сделалось очень велико, а одновременно возросло и сопротивление автора перевода, он предложил отказаться от этой затеи (часть уже была напечатана в «Глаголе»). В. Е. Н. тогда взялась переводить роман заново, отнюдь не пользуясь переводом Цветкова — у меня есть ее письмо, где она, описывая всю историю, смеется над самой идеей плагиата, зная — и это знали все, кто ее знал, — до какой степени ей безразлична собственная ее литературная слава. В ее переводе много недостатков, он точен буквально, но лишен поэзии и страдает технически в иных местах, и мы не сошлись с ней в ее решении важной загвоздки последней строки романа, — но он верен оригиналу и совершенно самостоятелен*.

В указанном журнале, издававшемся «Ардисом» (Анн-Арбор), был опубликован перевод предисловия Ч. Кинбота (*Набоков В. Бледный огонь. Вступление к роману в переводе А. Цветкова под редакцией В. Е. Набоковой // Глагол. 1981. № 3. С. 127–144*).

Русский перевод «Бледного огня» был издан в «Ардисе» в 1983 г. с предисловием и примечаниями переводчицы. Печатается по этому изданию с исправлением замеченных опечаток, восстановлением пропущенных слов в угловых скобках и с унификацией транслитерации.

* *Барбтарло Г. Далекая северная страна // Звезда. 2018. № 8. С. 245. (Здесь и далее, если не указано иное, — прим. ред.)*

От переводчицы

Когда этот трудный перевод был сделан начерно, оказалось, что потребуется еще очень большая работа, прежде чем можно будет его напечатать. Эта работа заняла у меня три с лишним года. Перевод «Бледного огня» представлял некоторые особые трудности сверх обычных трудностей перевода набоковских текстов, в которых каждая фраза наполнена до краев содержанием и не включает в себе ни единого лишнего слова.

В этой книге «примечания» к поэме вовсе не являются примечаниями к ней. Все же они состоят в некоторой связи с цитируемыми строчками, и связь эта должна быть сохранена, что не всегда случается автоматически при точном переводе строчек и примечания. Вот несколько случаев, в которых переводчице пришлось слегка отклониться от оригинального текста:

В строчках 728–729 сделана попытка сохранить хотя бы намек на остроумную игру слов оригинала.

Строки 653–664. Хотя поэма переведена без рифм и размера, эти строчки потребовали ритма для сохранения ауры «Лесного Царя» (который в дальнейшем еще раз дает о себе знать).

Строчки 828 и 830 также не могли обойтись без рифмы.

Владимир Набоков *Бледный огонь*

Я старалась как можно ближе придерживаться смысла оригинала, но все же не смею утверждать, что мне удалось понять и передать всю сложную внутреннюю переключку мыслей и образов.

Вера Набокова
Монре, 16-го ноября 1982 г.

Бледный ОГОНЬ

Посвящаю моей жене

Это напомнило мне его курьезный рассказ мистеру Лэнгтону о непристойном поведении одного молодого человека из хорошей семьи: «Сударь, последний раз, что мне о нем говорили, он бегал по городу и стрелял кошек». А потом, в каком-то ласковом рассеянии, он вспомнил про своего любимца кота и сказал: «Но Ходжа никто не застрелит, — нет, нет, Ходжа никто не застрелит».

ДЖЕЙМС БОСВЕЛЬ
«Жизнь Сэмюэля Джонсона»

Предисловие

Написанная героической строфой поэма «Бледный огонь» — девятьсот девяносто девять строк, разделенных на четыре песни, — сочинена Джоном Фрэнсисом Шейдом (род. 5 июля 1898 г., ум. 21 июля 1959 г.) в течение последних двадцати дней его жизни в собственном его доме в Нью-Уасе, в штате Аппалачия, США. Рукопись, большей частью чистовой экземпляр, с которого совершенно точно отпечатан настоящий текст, состоит из восьмидесяти библиотечных карточек среднего формата, из коих на каждой Шейд употреблял розовую линию для заголовка (номер песни, дата), а на остальных четырнадцати голубых линиях тонким пером, мельчайшим, аккуратным, удивительно ясным почерком, выписывал текст поэмы, с пропуском одной линии в обозначение двойного интервала, всегда начиная новую карточку под начало каждой песни.

Короткая (166 строк) Песнь первая, со всеми ее забавными птицами и паргелиями*, занимает трин-

* «Ложное солнце» — светлое круглое пятно на небесном своде по одну или по обе стороны от солнечного диска.

дцать карточек. Ваша любимая Песнь вторая, а также Песнь третья, этот поразительный *tour de force**, одинаковы по длине (334 строки) и занимают по двадцать семь карточек каждая. Песнь четвертая совпадает по длине с первой и, так же как она, занимает тринадцать карточек, из коих четыре последние, использованные им в день смерти, принадлежат не к чистовому экземпляру, а к исправленному черновику.

Будучи человеком методичным, Джон Шейд обычно к полуночи переписывал очередную порцию завершенных строк, но даже если он иной раз, как я подозреваю, и переписывал их позднее заново, то помечал карточку (или карточки) не днем окончательной правки, а датой исправленного черновика или первого чистового экземпляра. Я хочу сказать, что он сохранял фактическую дату написания в предпочтении вариантам правки. Прямо напротив моей нынешней квартиры находится очень громкий увеселительный парк.

В результате мы располагаем полным календарем его работы. Песнь первая была начата в послеполуночные часы 2 июля и завершена 4 июля. Следующую песнь он начал в свой день рождения и закончил 11 июля. Еще одна неделя была посвящена Песни третьей. Песнь четвертая была начата 19 июля, и, как уже отмечено, последняя треть ее текста (строки 949–999) дошла до нас лишь в форме исправленного черновика. Этот отрывок, по виду чрезвычайно растрепанный, изобилующий опустошительными подчистками и стихийного масштаба вставками, не следует линиям карточек с той же педантичностью, что чистовой

* Большое усилие; ловкий трюк (*фр.*).

экземпляр. В действительности же, как только вы погружаетесь в него и принуждаете себя открыть глаза в прозрачных глубинах под его возмущенной поверхностью, он оказывается изумительно точным. В нем нет ни единой неполной строки, ни одного сомнительного прочтения. Этого факта достаточно, чтобы показать, что обвинения, выдвинутые (24 июля 1959 г.) в газетном интервью одним из наших самозванных шейдистов — утверждавшим, *никогда не выдав рукописи поэмы*, что она «состоит из разрозненных набросков, из которых ни один не представляет точного текста», — есть злостная выдумка тех, кто желал бы не столько пожалеть о том, в каком состоянии работа великого поэта была прервана смертью, сколько подвергнуть хуле компетенцию, а может быть, и честность нынешнего редактора и комментатора.

Другое заявление, сделанное публично профессором Хёрли и его кликой, относится к структурным соображениям. Цитирую из того же интервью: «Никто не может сказать, какой длины предполагал сделать свою поэму Джон Шейд, но вовсе не исключено, что оставленное им есть лишь малая часть сочинения, видевшегося ему туманно, как бы сквозь стекло». Опять чепуха! Помимо сущего горна внутренней очевидности, звящего на протяжении всей Песни четвертой, существует свидетельство Сибиллы Шейд (в документе, датированном 25 июля 1959 г.), что ее муж «никогда не намеревался выйти за пределы четырех частей». Для него Третья песнь была предпоследней, и я лично слышал, как он говорил об этом во время прогулки на закате, когда, как бы думая вслух, он делал смотр трудам минувшего дня и жестикулировал в простительном самоодобре-

нии, меж тем как его сдержанный спутник безуспешно старался приноровить ритм своего долгоногого размашистого шага к порывистой дергающейся походке растрепанного старого поэта. Более того, я даже осмелюсь утверждать (пока наши тени продолжают прогулку без нас), что ему оставалось написать лишь *одну* строку поэмы (а именно стих 1000), которая была бы идентична первой строке и завершила бы структурную симметрию, с двумя одинаковой длины центральными частями, основательными и пространственными, образующими вместе с более короткими флангами пару крыл в пятьсот строк каждое, и будь она проклята, эта музыка. Зная комбинационную склонность ума Шейда и его тонкое чувство гармонического равновесия, я не могу себе представить, чтобы он намеревался искалечить грани своего кристалла, препятствуя его предсказуемому росту. И если бы и этого не было достаточно — а этого совершенно, совершенно достаточно, — я имел несравненную возможность услышать из собственных уст моего бедного друга вечером 21 июля, что труд его завершен — или почти завершен (смотри мое примечание к стиху 991).

Эта пачка из восьмидесяти карточек была скреплена резиновым кольцом, которое я теперь вновь благоговейно на них натягиваю, в последний раз просмотрев их драгоценное содержание. Другая, гораздо более тонкая стопка, состоящая из двенадцати карточек, которые были скреплены вместе и помещены в тот же бурый конверт, что и главная пачка, содержит несколько дополнительных двустихий, пролагающих свой краткий и несколько смазанный путь сквозь хаос первоначальных набросков. Шейд

держал за правило уничтожать черновики, как только у него отпадала в них нужда; я хорошо помню, как одним сияющим утром я видел с моего крыльца, как он сжег целую колоду их в бледном огне мусорной печи, перед которой он стоял, склонив голову, как официальный плакальщик на похоронах, среди подхватываемых ветром черных бабочек этого задворочного аутодафе. Он все же сохранил эти двенадцать карточек ради неиспользованных удач, сияющих из-под окалины исчерпанных черновиков. Возможно, что он смутно предполагал заменить некоторые места чистового экземпляра иными прелестными вариантами из своего запаса, или, что более вероятно, предпочтение, украдкой питаемое к тому или иному наброску, исключенному из соображений архитектоники или же потому, что это раздражало С., побудило его отложить запасные варианты до того времени, когда мраморная завершенность безупречной машинописи либо подтвердит их, либо заставит казаться самый изящный вариант неуклюжим и нечистым. А еще возможно, и да будет мне позволено добавить это со всей скромностью, что он намеревался испросить моего совета по прочтении поэмы мне, — это, я знаю, входило в его планы.

Эти отвергнутые разночтения читатель найдет в моих комментариях к поэме. На их место в тексте указывают или, по крайней мере, намекают черновики окончательных строк, находящихся в непосредственной близости. В некотором смысле многие из них обладают большей художественной и исторической ценностью, чем иные из лучших мест в конечном тексте. Здесь мне следует объяснить, каким образом я оказался редактором «Бледного огня».

Тотчас после смерти моего дорогого друга я убедил убитую горем вдову предусмотреть и дать категорический отпор коммерческим страстям и академическим интригам, которые не могли не разыграться вокруг рукописи ее мужа (переправленной мною в надежное место еще до того, как его тело упокоилось в могиле), подписав соглашение о том, что он передал рукопись мне; что я незамедлительно опубликую ее с моим комментарием в любом издательстве по моему выбору; что весь доход, за вычетом доли издателя, поступит ей; и что в день публикации рукопись будет передана в Библиотеку Конгресса на вечное хранение. Я предлагаю любому серьезно критику найти какую бы то ни было несправедливость в таком контракте. Тем не менее он был назван (бывшим адвокатом Шейда) «фантастическим месивом зла», меж тем как другое лицо (его бывший литературный агент) с издевкой интересовалось, почему это дрожащая подпись г-жи Шейд выведена «какими-то странными красными чернилами». Такие сердца и такие умы не в состоянии понять, что привязанность человека к шедевру может быть совершенно подавляющей, в особенности когда изнанка ткани восхищает созерцателя и единственного зачинателя, чье прошлое переплетается в ней с судьбой простодушного автора.

Как, кажется, упомянуто в моем последнем примечании к поэме, глубинная бомба смерти Шейда разворотила такие тайны и подняла со дна столько мертвой рыбы, что мне пришлось покинуть Нью-Уай вскоре после моей последней беседы с помещенным в заключение убийцей. Составление комментария пришлось отложить до тех пор, пока я не поды-

щу нового инкогнито в более спокойном окружении, но практические вопросы, относящиеся к поэме, требовали безотлагательного разрешения. Я полетел в Нью-Йорк, сделал фотокопию рукописи, договорился об условиях с одним из издателей Шейда и уже был на грани заключения сделки, когда, как бы вскользь, посреди необъятного заката (мы сидели в орехово-стеклянной келье в пятидесяти этажах над процессией скарабеев), мой собеседник заметил: «Вы будете рады узнать, доктор Кинбот, что профессор Имярек (один из членов Шейдовского комитета) согласился сотрудничать с нами в качестве консультанта по этому материалу».

«Радость», знаете ли, есть нечто чрезвычайно субъективное. Одна из наших глуповатых земблянских поговорок гласит: *радуется потерянная перчатка*. Я немедленно защелкнул замок моего портфеля и направился к другому издателю.

Вообразите мягкосердечного неуклюжего великана, вообразите историческую личность, для которой понятие о деньгах сводится к абстрактным миллиардам государственного долга; вообразите монарха в изгнании, не подозревающего о Голконде*, скрытой в его запонках! Все это к тому — о, с преувеличением, — что я самый непрактичный человек в мире. Отношения между таким человеком и старой лисой книгопечатного дела бывают сначала трогательно беззаботные и приятельские, исполненные дружелюбного поддразнивания и знаков взаимной приязни. У меня нет оснований полагать, что

* Кладезь сокровищ (по названию древнего индийского города, вблизи которого находились алмазные копи).

какая-либо случайность помешает подобным первоначальным отношениям с добрым старым Фрэнком, моим нынешним издателем, остаться такими.

Фрэнк подтвердил благополучное возвращение корректуры, которую он высылал мне сюда, и попросил упомянуть в моем предисловии — и я охотно это делаю, — что ответственность за все ошибки в комментариях лежит исключительно на мне. Вставить перед профессиональный. Профессиональный корректор внимательно сверил с фотокопией манускрипта печатный текст поэмы и нашел в нем несколько пропущенных мною пустыковых опечаток; это была единственная посторонняя помощь, к которой мне пришлось прибегнуть. Излишне говорить о том, как уповал я на получение от Сибиллы Шейд массы биографических данных, но она, к сожалению, покинула Нью-Уай еще прежде меня и в настоящее время живет у родственников в Квебеке. Мы, разумеется, могли бы вести плодотворнейшую переписку, но от господ шейдистов так просто не отделаешься. Они стаями ринулись в Канаду и набросились на бедную женщину, как только я потерял контакт с ней и с ее переменчивыми настроениями. Вместо того чтобы ответить на мое месячной давности письмо из моей сидарнской пещеры, где перечислялись некоторые из самых важных вопросов, в том числе вопрос о настоящем имени «Джима Коутса» и т. д., она внезапно ошарашила меня телеграммой с просьбой принять профессора Х. (!) и профессора К. (!!) в качестве соредакторов поэмы ее мужа. Как глубоко это поразило и уязвило меня! Естественно, это исключило всякую возможность сотрудничества с введенной в заблуждение вдовой моего друга.

А он и впрямь был моим другом! Согласно календарю, мы были знакомы лишь несколько месяцев, но существует вид дружбы со своей собственной внутренней длительностью, с собственными зонами прозрачного времени, не зависящими от вертящейся зловредной музыки. Я никогда не забуду возбуждения, охватившего меня при известии, как упомянуто в одном из примечаний, до которого читатель дойдет, о том, что пригородный дом (снятый для меня у судьи Гольдсворта, отбывшего в Англию на отпускной год), в который я въехал 5 февраля 1959 года, расположен рядом с домом знаменитого американского поэта, чьи стихи я пытался переложить на земблянский язык два десятилетия назад! Помимо этого славного соседства, гольдсвортовское шато, как я вскоре понял, не отличалось особыми достоинствами. Система отопления представляла из себя фарс, поскольку зависела от вентиляционных отдушин в полу, откуда тепловатые истечения урчащей и стонущей топки подавались в комнаты со слабостью последнего вздоха умирающего. Залепив выходные отверстия наверху, я пытался направить побольше энергии в гостиную, но ее климат оказался неизлечимо подорванным, так как между ней и арктическими областями не было ничего, кроме тонкой входной двери, без какого-либо признака прихожей — потому ли, что дом этот был построен в разгар лета наивным поселенцем, не имевшим понятия о том, какую зиму припас для него Нью-Уай, или в силу некой старозаветной чопорности, требовавшей, чтобы случайный гость мог через открытую дверь убедиться, что в гостиной не происходит ничего предосудительного.

В Земле февраль и март (последние два из четырех «белоносых месяцев», как мы их называем) тоже бывали довольно суровыми, но даже в крестьянской избе всегда была равномерная масса тепла, а не сеть убийственных сквозняков. Правда, как обычно случается с новоприезжими, мне объяснили, что я выбрал худшую зиму за много лет, — и это на широте Палермо! В одно из первых моих тамошних утр, когда я собирался отправиться в колледж на только что приобретенном мощном красном автомобиле, я заметил, что г-н и г-жа Шейд, с которыми я до тех пор еще не встречался в обществе (как я узнал впоследствии, они полагали, что я предпочитаю быть оставленным в покое), хлопотали вокруг своего старого «паккарда» на скользком выезде из гаража, где он выпускал страдальческий вой, но никак не мог извлечь замученное заднее колесо из ледяного ада выбоины. Джон Шейд неуклюже возился с ведром, из которого он жестами сеятеля разбрасывал по голубой глазури пригоршни бурого песка. Он был в ботах, его викуний воротник был поднят, на солнце его обильная седая шевелюра, казалось, была покрыта инеем. Я знал, что за несколько месяцев до этого он болел, и поспешил к ним, думая подвезти моих соседей до кампуса на своей мощной машине. Мой наемный замок был отделен от выезда соседей переулком, огибавшим легкое возвышение, на котором он стоял, и я собирался пересечь его, как вдруг потерял равновесие и сел на удивительно жесткий снег. Мое падение подействовало на седан Шейдов подобно химическому реактиву, — он немедленно тронулся с места и едва не переехал меня, меж тем как Джон энергично гримасничал за рулем, а Сибилла что-то свирепо

ему втолковывала. Я не уверен, что кто-либо из них меня заметил.

Однако несколькими днями позднее, а именно в понедельник 16 февраля, меня представили старому поэту за завтраком в клубе академического персонала. «Наконец вручил верительные грамоты», как записано с легкой иронией в моем рабочем дневнике. Вместе с четырьмя или пятью другими заслуженными профессорами я был приглашен к его обычному столу под увеличенной фотографией Вордсмитского колледжа, ошеломленного и облупленного, каким он был запечатлен в удивительно мрачный летний день 1903 года. Меня позабавило его лаконичное предложение «отведать свинины». Я — строгий вегетарианец и предпочитаю сам готовить себе пищу. Как я объяснил моим румяным сотрапезникам, употреблять в пищу что-либо прошедшее через руки другого живого существа мне столь же отвратительно, как есть такое существо, включая — тут я понизил голос — пухлявую студентку с жеребьячьим хвостиком, которая прислуживала нам, слюнявя карандаш. Кроме того, я уже покончил с принесенным в портфеле фруктом, сказал я, и потому удовольствуюсь бутылкой доброго колледжского эля. Мое вольное и простое обращение разрядило атмосферу. Посыпались обычные вопросы — о том, приемлемы ли для человека моих убеждений яичные и молочные напитки. Шейд сказал, что его случай скорее обратный: чтобы поесть овощей, ему необходимо совершить усилие. Приступить к салату для него все равно что войти в холодный день в морскую воду, а для атаки на крепость яблока ему надо основательно взять себя в руки. К тому времени я еще не освоился с до-

вольно утомительным шутовством и подтруниванием, принятыми в тесной американской академической среде, и потому воздержался от того, чтобы высказать Джону Шейду в присутствии этих ухмыляющихся старых мужчин мое глубокое восхищение его творчеством, дабы серьезная литературная беседа не выродилась в обыкновенное гаерство. Вместо этого я задал ему вопрос об одном из моих новообетенных студентов, посещавшем также его курс, — замкнутом, тонком, довольно обаятельном мальчике; но старый поэт в ответ мне тряхнул решительно седым чубом и сказал, что давным-давно перестал запоминать имена и лица студентов и из всего семинара поэзии помнит зрительно только вольнослушающую даму на костылях. «Да ну, — сказал профессор Хёрли. — Неужели, Джон, вы ни сном ни духом не помните эту потрясающую блондинку в черном трико из литературного курса 202?» Шейд, лучась всеми морщинками, добродушно похлопал Хёрли по кисти, чтобы тот перестал. Другой инквизитор спросил, правда ли, что я установил у себя в подвале два стола для пинг-понга. «Разве это преступление?» — спросил я. Нет, отвечал он, но зачем же два? «Разве *это* преступление?» — парировал я, и все рассмеялись.

Несмотря на слабое сердце (см. стих 736), легкую хромоту и некую любопытную неправильность в методе передвижения, Шейд непомерно любил длинные прогулки, но снег мешал ему, и зимой он предпочитал, чтобы после лекций за ним заезжала жена. Несколькими днями позднее, выходя из Партеносисус-Холла — или Мэйн-Холла (ныне, увы, Шейд-Холла), я увидел его, ожидавшего снаружи приезда г-жи Шейд. С минуту я стоял рядом, на ступеньках вход-

ного портика, натягивая палец за пальцем перчатки и посматривая в сторону, как бы готовясь к приему парада. «За совесть стараетесь», — заметил поэт. Он взглянул на часы. На них упала снежинка. «Кристалл на хрусталь», — сказал Шейд. Я предложил подвезти его домой на моем мощном «Крэмлере». «Жены забывчивы, г-н Шейд». Он вскинул лохматую голову и посмотрел на часы на здании библиотеки. Через широкий унылый пустырь покрытого снегом газона, смеясь и скользя, шли два сияющих румянцем юнца в цветистых зимних одеждах. Шейд вновь посмотрел на свои часы и, пожав плечами, принял мое предложение.

Я спросил, не будет ли он возражать, если мы поедем кружным путем, через центр университетского поселка, где я хотел купить печенья в шоколаде и немного икры. Он сказал, что ничего не имеет против. Изнутри супермаркета, сквозь цельное стекло окна, я видел, как мой старичок юркнул в винную лавку. Когда я воротился с покупками, он вновь сидел в машине, читая бульварную газетку, какую, по моим понятиям, ни один поэт не удостоит прикосновения. По уютной отрыжке я понял, что на его тепло укутанной фигуре припрятана фляжка со спиртным. Когда мы въезжали в аллею гаража, к дому как раз подкатила Сибилла. Я вышел из машины в учтивом оживлении. «Раз уж мой муж не считает нужным представлять людей друг другу, — сказала она, — давайте сделаем это сами. Вы ведь доктор Кинбот, да? А меня зовут Сибилла Шейд». Затем она обратилась к мужу, говоря, что он мог бы подождать ее лишнюю минуту в кабинете: она-де и гудела, и кричала, и даже пошла наверх и т. д. Я повернулся, чтоб уйти, не желая

оказаться свидетелем семейной сцены, но она окликнула меня: «Выпейте с нами, — сказала она, — то есть, скорее, со мной, потому что Джону запрещено прикасаться к спиртному». Я объяснил, что не могу долго задерживаться, ибо мне предстоит своего рода небольшой семинар на дому и тур настольного тенниса с парой прелестных близнецов и еще одним другим мальчиком, другим мальчиком...

С этих пор я все чаще и чаще видел моего знаменитого соседа. Вид, открывавшийся в одном из моих окон, обеспечивал меня постоянным первоклассным развлечением, в особенности когда я ожидал какого-нибудь позднего гостя. Пока ветви разделявших нас лиственных деревьев оставались обнаженными, со второго этажа моего дома мне было ясно видно окно гостиной Шейдов, и почти каждый вечер я мог наблюдать тихое качание обуви в шлепанец ноги поэта. Из чего можно было заключить, что он сидит с книгой в низком кресле, но ничего, кроме этой ноги и ее тени, ходившей вверх и вниз по стене в тайном ритме сосредоточенной мысли, в густом свете лампы, разглядеть не удавалось. Всегда в одно и то же время коричневый сафьяновый шлепанец падал с одетой в шерстяной носок ноги, которая продолжала качаться, хотя и в несколько замедленном темпе. Было ясно, что надвигается время сна со всеми его страхами, что через несколько минут кончик ноги начнет нащупывать и теревить шлепанец, а затем исчезнет вместе с ним из золотого поля моего зрения, пересеченного черной перевязью ветки. А иногда в нем легко пробежала Сибилла Шейд, спеша и размахивая руками, как бы в припадке раздражения, и немного позднее возвращалась уже гораздо

более медленным шагом, как будто простив мужу его дружбу с чудаковатым соседом. Но загадка ее поведения полностью разрешилась однажды вечером, когда, набрав их номер и наблюдая в то же время за окном, я волшебным образом заставил ее произвести весь цикл этих торопливых и вполне невинных движений, столь меня озадачивших.

Увы, моему душевному покою предстояло в скором времени быть нарушенным. Как только в академическом поселке поняли, что Джон Шейд ценит мое общество выше всех прочих, в меня полетели брызги густого яда зависти. От нашего внимания не ускользнуло ваше тихое хихиканье, дражайшая г-жа К., когда после нудной вечеринки в вашем доме я помог усталому старику-поэту найти галоши. Однажды мне случилось зайти в профессорскую факультета английской литературы в поисках журнала с фотографией королевского дворца в Онхаве, которую я хотел показать моему другу, когда услышал, как молодой преподаватель в зеленом бархатном пиджаке — из милосердия назову его Джеральд Эмеральд — небрежно ответил на какой-то вопрос секретаря: «Мне кажется, г-н Шейд уже ушел с Великим Бобром». Это правда, я высок ростом, и моя каштановая борода отличается густотой и глубиной оттенка, — глупая кличка явно относилась ко мне, но не заслуживала внимания, и, спокойно взяв журнал с заваленного брошюрами стола, я удовольствовался тем, что на пути к выходу ловким движением пальцев распустил, проходя мимо Джеральда Эмеральда, его галстук бантом. А еще было утро, когда доктор Натточдаг, глава отделения, при котором я состоял, официальным тоном попросил меня присесть, закрыл дверь и, хмуро опу-

стившись в свое вращающееся кресло, предложил мне «быть поосторожнее». В каком смысле поосторожнее? Некий юноша пожаловался консультанту. Боже правый, на что же он пожаловался? На то, что я критиковал посещаемый им курс литературы («глупейший обзор глупейших работ, преподаваемый глупейшей посредственностью»). Рассмеявшись в совершенном облегчении, я обнял милейшего Неточку и пообещал больше не шалить. Пользуюсь случаем послать ему привет. Он всегда относился ко мне с такой изысканной учтивостью, что я иной раз подумывал, не подозревает ли он того же, что Шейд, что знали наверняка только три человека — два попечителя и президент колледжа.

О, подобных инцидентов было множество. В скетче, разыгранном группой студентов театрального отделения, я был представлен в виде напыщенного женоненавистника с немецким акцентом, постоянно цитирующего Хаусмана и грызущего сырую морковь. А за неделю до смерти Шейда некая неистовая дама, в чьем клубе я отказался читать лекцию о «Халли-Валли» (как она выразилась, смешав чертог Одина с заглавием финского эпоса)*, сказала мне среди продуктового магазина: «Вы удивительно неприятный человек. Не пойму, как вас выносят Джон и Сибилла» — и, выведенная из себя моей вежливой улыбкой, добавила: «Кроме того, вы сумасшедший».

Но позвольте мне прекратить этот перечень глупостей. Что бы там ни думали, что бы ни говорили, дружба Джона была мне полным возмещением. Эта

* Вальхалла (Валгалла) — в германо-скандинавской мифологии небесный чертог Одина в Асгарде, куда попадают после смерти павшие воины. «Калевала» — карело-финский поэтический эпос.

дружба была еще драгоценнее для меня из-за нарочито скрываемой нежности, в особенности когда мы бывали не одни, из-за грубоватости, происходящей от того, что можно определить как достоинство души. Все его существо представляло собой мажорданный наряд. Внешний вид Джона Шейда так мало соответствовал роившимся в нем гармониям, что возникало желание отмести его как грубую личину или преходящую моду; ибо если мода романтической эпохи утончала мужественность поэта обнажением его привлекательной шеи, утончением профиля и отражением горного озера в его овальном взоре, барды нынешнего дня, благодаря, очевидно, бóльшим возможностям долголетия, выглядят как гориллы или стервятники. Лицо моего возвышенного соседа заключало в себе нечто способное даже нравиться взгляду, если бы оно было только львиным или только ирокезским; к несчастью, совмещая в себе то и другое, оно напоминало лишь лицо мясистого хогартовского пьяницы неопределенного пола. Его бесформенное тело, обильная седая грива густой шевелюры, желтые ногти его пухлых пальцев, мешки под тусклыми глазами — все это становилось понятным, только если рассматривалось как отбросы, элиминированные из его истинного существа теми же силами совершенствования, которые очищали и чеканили его стихи. Он сам себя погашал.

У меня есть одна его фотография, особенно мне дорогая. На этом цветном любительском снимке, сделанном в яркий весенний день моим бывшим приятелем, Шейд изображен опирающимся на крепкую трость, принадлежавшую некогда его тетке Мод (см. стих 86). На мне белая непромокаемая куртка,

приобретенная в местном магазине спортивных товаров, и пара лиловых штанов родом из Канн. Моя левая рука наполовину поднята — не затем, чтобы похлопать Шейда по плечу, как это может показаться, но чтобы снять темные очки, до которых, однако, она так и не дотянулась в *той* жизни, жизни снимка; библиотечная книга, зажатая под моей правой рукой, — это трактат об одной земблянкой разновидности гимнастики, которой я намеревался заинтересовать моего юного жильца, сделавшего эту фотографию. Неделей позже он обманул мое доверие, гнусно воспользовавшись моим отсутствием во время поездки в Вашингтон, вернувшись откуда я обнаружил, что он развлекался с огневолоосой экстонской шлюхой, оставившей свои очески и вонь во всех трех ваннах. Разумеется, мы тотчас же расстались, и в просвет оконных занавесок я мог видеть негодника Боба, стоявшего довольно трогательно со своими волосами ежиком, с облупленным чемоданом и лыжами, которые я ему подарил, в ожидании товарища по клубу, чтобы навсегда с ним уехать. Я могу простить все, кроме измены.

Мы с Джоном Шейдом никогда не обсуждали мои личные невзгоды. Наша тесная дружба была на том высшем, исключительно интеллектуальном уровне, где человек отдыхает от эмоциональных горестей, а не делится ими. Мое восхищение им служило своего рода альпийским лечением. Глядя на него, я всегда испытывал возвышенное чувство изумления, в особенности в присутствии других людей, людей более низкого разряда. Это изумление усугублялось сознанием, что они не чувствуют того, что чувствую я, не видят того, что я вижу; что они вос-

принимают Шейда как нечто само собой разумеющееся, вместо того, чтобы напиться, если можно так выразиться, каждый нерв романтикой его присутствия. Вот он, говорил я себе, вот его голова, держащая мозг иного сорта, чем синтетический студень, расфасованный в окружающие его черепа. Он смотрит с террасы (в доме профессора К. в тот мартовский вечер) на далекое озеро. Я смотрю на него. Я присутствую при уникальном физиологическом явлении: Джон Шейд воспринимает и претворяет мир, вбирая его и разлагая на составные элементы, меняя их местами и в то же время складывая про запас, чтобы в один непредугаданный день произвести органическое чудо, слияние образа и музыки, поэтическую строку. И я испытывал возбуждение того же рода, что в раннем детстве, в замке дяди, где я наблюдал через стол за фокусником, только что давшим фантастическое представление и теперь спокойно поглощавшим ванильное мороженое. Я смотрел на его пудренные щеки, на волшебный цветок в петлице, где он многократно менял окраску и теперь застыл в виде белой гвоздики, и в особенности на его чудесные, текущие на вид пальцы, которые могли по желанию растворить ложку в солнечный луч простым верчением либо превратить тарелку в голубя, подбросив ее в воздух.

Именно таким внезапным мановением волшебства является поэма Шейда: мой седовласый друг, мой любимый старый фокусник всунул в шляпу колоду карточек — и вытряхнул оттуда поэму.

Обратимся же теперь к поэме. Надеюсь, что мое предисловие не вышло чересчур скудным. Прочие примечания, расположенные как построчный ком-

ментарий, наверное, удовлетворят самого требовательного читателя. Хотя эти примечания, согласно обычаю, помещены в конце поэмы, читателю рекомендуется просмотреть их в первую очередь, а уже затем, с их помощью, изучить поэму, перечитывая их, разумеется, по мере ознакомления с текстом, а закончив с поэмой, пожалуй, просмотреть их в третий раз для полноты картины. В подобных случаях я нахожу разумным во избежание канители постоянно перелистывания либо вырезать страницы и подколоть их к соответствующим местам текста, либо, что еще проще, приобрести два экземпляра книги с тем, чтобы поместить их бок о бок на удобном столе — не на тряском сооружении наподобие моего, на которое с риском водворена моя пишущая машинка, в этом убогом мотеле, с каруселью внутри и снаружи моей головы, за много миль от Нью-Уая.

Разрешите мне сказать, что без моих комментариев текст Шейда попросту лишен всякой человеческой реальности, ибо человеческая реальность такой поэмы, как эта, чересчур капризной и сдержанной для автобиографии, с пропуском многих содержательных строк, необдуманно им отвергнутых, зависит полностью от реальности автора и его окружения, привязанностей и т. д., — реальности, дать которую могут только мои примечания. Мой дорогой поэт, по всей вероятности, не подписался бы под таким заявлением, но к добру ли, к худу ли, последнее слово остается за комментатором.

Чарльз Кинбот
19 октября 1959 г.
Сидарн, Ютана

Бледный огонь

Поэма в четырех песнях

Песнь первая

Я был тенью свиристеля, убитого
Ложной лазурью оконного стекла;
Я был мазком пепельного пуха, — и я
Продолжал жить и лететь в отраженном небе.
И также я удваивал изнутри
Себя, лампу, яблоко на тарелке, —
Раздвинув занавески, скрывавшие ночь,

я давал темному стеклу

Развесить над травой всю мебель,
И как было дивно, когда снег
10 Накрывал весь видный мне лужок и вздымался так,
Что кресло и кровать стояли в точности
На снегу, на этой хрустальной земле!

Снимите снова снегопад: каждая плывущая снежинка
Бесформенна и медленна, неустойчива и плотна,
Тусклая темная белизна на бледной белизне дня,
Среди абстрактных лиственниц в нейтральном свете.
И после: градации синевы,
Когда ночь сливает зрителя со зримым;
А поутру морозные алмазы
20 Изумлены: чьи это ноги в шпорах пересекли
Слева направо белую страницу дороги?

Слева направо читается шифр зимы:
Точка, стрелка назад; повторение:
Точка, стрелка назад... Фазаний след!
С полоскою вокруг шеи щеголь, рябчик облагороженный,
Обретший свой Китай позади моего дома.
Не в «Шерлоке Холмсе» ли он был, тот, чьи
Следы повернутых вспять башмаков указывали назад?

Всякий цвет мог радовать меня: даже серый.

30 Мои глаза в буквальном смысле
Фотографировали. Как только я позволял
Или, в безмолвном трепете, повелевал,
Все, бывшее в поле моего зрения, —
Домашняя ли сценка, листья карии или стройный
Стилет застынувшей капли, —
Все запечатлевалось на исподе моих век,
Где сохранялось час-другой,
И пока это длилось, мне стоило
40 Закрыть глаза, чтоб воспроизвести листву,
Домашнюю сценку или трофеи стрех.

Я не пойму, почему прежде с озера
Я мог различить наше крыльцо, идя
Озерной дорогой в школу, а нынче, хотя ни единое дерево
Не застит вида, я всматриваюсь и не разгляжу
Даже крыши. Возможно, что какой-то сдвиг в пространстве
Произвел складку или борозду, сместившую
Этот хрупкий вид, дощатый дом между
Гольдсвортом и Вордсмитом, на квадрате зелени.

У меня там была любимая молодая кария
50 С крупными темно-нефритовыми листьями
и черным, щуплым,

Источенным бороздками стволom. Закатное солнце
Бронзировало черную кору, по которой, как развившиеся
Гирлянды, спадали тени ветвей.

Теперь она крепка и шершава, хорошо разрослась.
Белые бабочки становятся бледно-лиловыми, когда
Пролетают в ее тени, где как будто тихо покачивается
Призрак качелей моей маленькой дочери.

Сам дом почти не изменился. Одно крыло
Мы обновили. Здесь солярий. Здесь
60 Видовое окно обставлено затейливыми креслами.
Огромная скрепка телеантенны блестит на месте
Негнущегося флюгера, который часто посещал
Наивный и воздушный пересмешник.
Он пересказывал все слышанные им программы,
Переходя с *чиппо-чиппо* на ясное
Ту-уи, ту-уи, потом на хрипкое: *приди*,
Приди, при-пфрр, вскидывая кверху хвост
Или изящно предаваясь легким
Прыжкам вверх-вниз, и тотчас же (*ту-уи*)
70 Садясь на свой насест — на новую антенну.

Я был дитя, когда умерли мои родители.
Оба были орнитологи. Я так часто
Пытался их вообразить, что ныне
У меня тысяча родителей. Как грустно они
Тают в собственных добродетелях и удаляются,
Но иные слова, случайно услышанные или прочитанные, —
Такие как «больное сердце» — всегда относятся
К нему, а «рак поджелудочной железы» — к ней.

Любитель прошлого: сбиратель остывших гнезд.
80 Здесь была моя спальня, отведенная теперь гостям.

Здесь, уложенный в постель горничной-канадкой,
Я прислушивался к жужжанию голосов внизу и молился,
Чтобы все всегда были здоровы,
Дядья и тетки, горничная, ее племянница Адель,
Видавшая Папу, люди в книжках и Бог.

100 Меня воспитала милая эксцентричная тетушка Мод,
Поэтесса и художница со склонностью
К конкретным предметам вперемежку
С гротескными разрастаниями и образами смерти.
Она дожила до крика нового младенца. Ее комнату
Мы оставили нетронутой. Там все мелочи
Складываются в натюрморт в ее стиле: пресс-папье
Из выпуклого стекла с лагуной внутри,
Книга стихов, открытая на оглавлении (Мавр,
Месяц, Мораль), грустящая гитара,
Человеческий череп; и из местной «Стар»
Курьез: «Красные носки» победили «Янки» 5:4*
*Гомером Чэпмена***, — приколотый кнопками к двери.

100 Мой Бог умер молодым. Богопоклонство я находил
Унизительным, а доказательства — неубедительными.
Свободному не нужен Бог — но был ли я свободен?
Как полно я ощущал природу прилепленной ко мне***,
И как мое детское небо любило
Полурыбный-полумедовый вкус этой золотой пастилы!

Книжкой картинок мне в ранние годы служил
Расписной пергамент, которым оклеена наша клетка:

* Две бейсбольные команды (*прим. пер.*).

** Термин в бейсболе. Чэпмен — знаменитый переводчик Гомера (*прим. пер.*).
Каламбур строится на созвучии имени древнегреческого поэта с бейсболь-
ным термином «homeg» (от homegyn — хоум-ран).

*** В оригинале имеется в виду ощущение неотлучного присутствия природы.

Я был тенью свиристеля, убитого
Мнимой далью оконного стекла.
Имея мозг, пять чувств (одно неповторимое),
В остальном я был лишь неуклюжим монстром.
Во сне я играл с другими детьми,
Но, по правде, не завидовал ничему — разве что
Чуду лемнискаты*, отпечатанной
На влажном песке небрежно-проворными
Шинами велосипеда.

Нить тончайшей боли,
140 Натягиваемая игривой смертью, ослабляемая,
Не исчезающая никогда, тянулась сквозь меня. Однажды,
Когда мне минуло одиннадцать и я лежал
Ничком, следя, как заводная игрушка —
Жестяная тачка, толкаемая жестяным мальчиком,
Обогнула ножки стула и ушла под кровать,
В голове моей вдруг грянуло солнце.

А затем — черная ночь. Великолепная чернота;
Я ощущал себя распределенным

в пространстве и во времени:

Одна нога на горной вершине, одна рука
150 Под галькой пыхтящего побережья.
Одно ухо в Италии, один глаз в Испании,
В пещерах моя кровь, и мозг мой среди звезд.
Глухое биение было в моем триасе, зеленые
Оптические пятна в верхнем плейстоцене,
Ледяная дрожь вдоль моего каменного века,
И в нерве локтевом все завтрашние дни.

В течение одной зимы я каждый день после полудня
Погружался в этот мгновенный обморок.

* Правильная кривая линия, имеющая форму цифры 8.

Потом прошло. Почти не вспоминалось.
160 Мое здоровье улучшилось. Я даже научился плавать.
Но, как мальчонка, принужденный шлюхой
Невинным языком утолять ее гнусную жажду,
Я был развращен, напуган, завлечен,
И, хотя старый доктор Кольт объявил меня исцеленным
От недуга, по его словам, сопутствующего росту,
Измучение длится, и не проходит стыд.

Песнь вторая

В моей безумной юности была пора,
Когда я почему-то подозревал, что правда
О посмертной жизни известна
170 Всякому — один лишь я
Не знаю ничего, и великий заговор
Книг и людей скрывает от меня правду.

Был день, когда я начал сомневаться
В здравомыслии человека: как мог он жить,
Не зная, что за рассвет, что за смерть, что за рок
Ожидает сознание за гробом?

И наконец, была та бессонная ночь,
Когда я принял решение исследовать ее и биться
С этой подлой, недопустимой бездной,
180 Посвятив всю мою исковерканную жизнь этому
Единому заданию. Ныне мне шестьдесят
один год. Свиристели
Поклевывают ягоды. Звенит цикада.

Маленькие ножницы в моей руке —
Ослепительный синтез солнца и звезды.

Я стою у окна и подрезаю
Ногти, и смутно сознаю уподобления, от коих
Шарахается их предмет: большой палец —
Сын нашего лавочника; указательный, худой и мрачный, —
Колледжский астроном Стар-Овер Блю;
190 Средний — знакомый мне высокий священник;
Женственный безымянный палец — старая кокетка;
И розовый мизинчик, прильнувший к ее юбке.
И я кривлю рот, подрезая тонкие кожицы,
«Шарфики», как называла их тетка Мод.

Мод Шейд было восемьдесят лет, когда внезапная тишь
Пала на ее жизнь. Мы видели, как гневный румянец
И судорога паралича исказили
Ее благородные черты. Мы перевезли ее в Пайндейл,
Известный своим санаторием. Там она сживала
200 На застекленном солнце и следила за мухой, садившейся
Ей то на платье, то на кисть руки.
Ее рассудок блекнул в густеющем тумане.
Она еще могла говорить. Она медлила,
нащупывала и находила
То, что сначала казалось годным звуком,
Но самозванцы из соседних келий занимали
Место нужных слов, и вид ее
Выражал мольбу, меж тем как она тщетно пыталась
Урезонить чудовищ своего мозга.

Какой момент при постепенном распаде
210 Избирает воскресение? Какие годы? Какой день?
Кто держит секундомер? Кто перематывает ленту?
Везет ли менее иным, иль ускользают все?
Вот силлогизм: *другие люди умирают; но я*

Не другой; поэтому я не умру.

Пространство есть роение в глазах, а время —
Звон в ушах. И в этом улье я
Заперт. Но *если бы* до жизни
Нам удалось ее вообразить, то каким безумным,
Невозможным, невыразимо диким, чудным вздором
220 Она нам показаться бы могла!

Зачем же разделять вульгарный хохот? Презирать
Загробный мир, чьего существования нельзя проверить?
Рахат-лукум турецкого рая, будущие лиры, беседы
С Сократом и Прустом в кипарисовых аллеях,
Серафима с шестью фламинговыми крылами,
Фламандский ад с его дикобразами и прочим?
Беда не в том, что нам снится слишком необычайный сон, —
А в том, что мы его не можем сделать
Достаточно невероятным; все, что можем мы
230 Придумать, — это только домашнее привидение.
Как смехотворны эти попытки перевести
На свой особый язык всеобщую судьбу!
Вместо божественно лаконичной поэзии —
Бессвязные заметки, подлые стишки бессонницы!

Жизнь — это весть, нацапанная впотъмах.

Без подписи.

Подмеченный на сосновой коре,
Когда мы шли домой в день ее смерти, —
Прильнувший к стволу пустой изумрудный футлярчик,
Плоский и пучеглазый, и в пару к нему —
240 Увязший в смоле муравей.

Тот англичанин в Ницце,
Гордый и счастливый лингвист: je pougгіs

Les pauvres cigales* — хотел сказать, что он
Кормит бедных чаек!**

Лафонтен*** неправ:
Мандибула**** мертва, а песнь живет.

И вот я подстригаю ногти, и раздумываю, и слышу
Твои шаги наверху, и все как быть должно, моя дорогая.

Сибилла, во все наши школьные дни я сознавал
Твою прелесть, но влюбился в тебя
На пикнике выпускного класса
250 У Нью-Уайского водопада. Мы завтракали на сырой траве.
Наш учитель геологии обсуждал водопад.
Рев воды и радужная пыль
Сообщали романтизм прирученному парку. Я полулежал
В апрельской дымке прямо позади
Твоей стройной спины и смотрел, как твоя
гладкая головка
Склонялась набок. Одна ладонь с вытянутыми пальцами
Опиралась на траву меж звездой триллиума***** и камнем.
Маленькая косточка сустава
Подрагивала. Потом ты обернулась и подала мне
260 Наперсток яркого металлического чая.

Твой профиль не изменился. Блестящие зубы,
Покусывающие осторожную губу; тень под
Глазами от длинных ресниц; персиковый пушок,

* Я кормлю бедных цикад (Крылов перевел «стрекоза» вместо «цикада»).
(Прим. пер.)

** Чайка по-английски «sea gull» (прим. пер.).

*** Жан де Лафонтен (1621–1695), автор басни «Цикада и муравей».

**** Нижняя челюсть у позвоночных, первая пара челюстей у насекомых
и ракообразных.

***** Род травянистых растений семейства лилейных.

Окаймляющий скулу; темно-коричневый шелк
Волос, зачесанных кверху от висков и затылка;
Очень голая шея; персидский очерк
Носа и бровей — ты все это сохранила;
И в тихие ночи мы слышим водопад.

Приди и дай поклоняться себе, приди и дай себя ласкать,
270 Моя темная, с алой перевязью, Vanessa, моя благословенная,
Моя восхитительная atalanta! Объясни,
Как ты могла в сумраке Сиреневого переулка
Дать неуклюжему, истеричному Джону Шейду
Мусолить тебе лицо, и ухо, и лопатку?

Мы сорок лет женаты. По крайней мере
Четыре тысячи раз твоя подушка была измята
Обеими нашими головами. Четыреста тысяч раз
Высокие часы хриплым вестминстерским боем
Отметили наш общий час. Сколько еще
280 Даровых календарей украсят собой кухонную дверь?

Я люблю тебя, когда ты стоишь на траве,
Вглядываясь в листву дерева: «Оно исчезло.
Такое маленькое. Оно, может быть, вернется» (все это
Шепотом нежнее поцелуя).

Я люблю тебя, когда ты зовешь меня полюбоваться
Розовым следом реактивного самолета
над пламенем заката.

Я люблю тебя, когда ты напеваешь, укладывая
Чемодан или фарсовый одежный мешок с круговой
Застежкой-молнией. А всего сильнее я люблю тебя,
290 Когда задумчивым кивком ты приветствуешь ее призрак,
Держа на ладони ее первую игрушку или глядя
На открытку от нее, найденную в книге.

Она бы могла быть тобою, мной или забавной смесью:
Природа выбрала меня, чтоб вырвать и истерзать
Твое сердце — и мое. Сперва мы, улыбаясь, говорили:
«Все маленькие девочки — толстушки» или «Джим Мак-Вей
(Наш окулист) исправит эту легкую
Косинку в два счета». И позднее: «Она будет совсем
Хорошенькой, поверь»; и, пытаясь утишить
300 Нарастающую муку: «Это неловкий возраст».
«Ей надо», говорила ты, «учиться ездить верхом»
(Избегая встретить взглядом мой взгляд). «Ей надо играть
В теннис или в бадминтон. Меньше крахмала,
больше фруктов!
Может быть, она и не красotka, но мила».

Все было зря, все было зря. Награды, полученные
За французский и историю, доставляли, конечно, радость;
Рождественские игры бывали, конечно, грубоваты,
И одна застенчивая маленькая гостья могла
оказаться исключенной;
Но будем справедливы: меж тем как дети ее лет
310 Представляли эльфов и фей на сцене,
Которую *она* помогла расписать для школьной пантомимы,
Моя кроткая девочка изображала Мать-Время,
Сгорбленную уборщицу с помойным ведром и метлой,
И, как дурак, я рыдал в уборной.

Еще одна зима была выскреблена, вычерпана до конца.
Весенние белянки появились в мае в наших лесах.
Лето было выкошено механическими косилками,
и осень сожжена.
Увы, гадкий лебеденок так и не превратился
В многоцветную лесную утку. И опять твой голос:
320 «Но это предрассудок! Будь доволен,

Критиковала наши планы и, без выражения
В глазах, сидела на несделанной постели,
Расставив опухшие ноги, чесала голову
Псориазными пальцами, и стонала,
Моноotonно бормоча жуткие слова.

Она была моей душенькой — трудной, угрюмой,
Но все же моей душенькой. Ты помнишь те
Почти безмятежные вечера, когда мы играли
360 В маджонг или она примеряла твои меха, делавшие
Ее почти привлекательной, и зеркала улыбались,
Свет был милосерден, тени мягки.
Иногда я помогал ей с латынью,
Или же она читала в своей спальне, рядом
С моим флюоресцентным логовом, а ты была
В своем кабинете, вдвое дальше от меня,
И время от времени я слышал оба голоса:
«Мама, что такое grimpen?»* — «Что такое что?»

— «Grim Pen»**.

Пауза и твое осторожное объяснение. Потом опять
370 «Мама, что такое chtonic?»*** Ты объясняла и это,
Добавляя: «Хочешь мандарин?»
«Нет. Да. А что значит sempiternal?»****
Ты колеблешься. И я с энтузиазмом рычу
Ответ из-за стола, сквозь закрытую дверь.

Неважно, что она тогда читала
(какие-то фальшивые новейшие стихи***** , названные

* Взбираться (*прим. пер.*).

** Зловещее перо (*прим. пер.*).

*** Хтонический (*прим. пер.*).

**** Вековечный (*прим. пер.*).

***** Имеется в виду сб. поэм претенциозного, по мнению Набокова, английско-го поэта Т.С. Элиота «Четыре квартета» (1943), из которого взяты вышеприведенные трудные слова. Намек на название сборника — в строках 410–412.

В курсе английской литературы документом
«Анга́же* и захватывающим», — до того, что это значило,
Никому не было дела); важно то, что эти три
380 Комнаты, *тогда* связанные тобой, ею и мной,
Теперь представляют триптих или трехактную пьесу,
Где изображенные события остаются навеки.

Мне кажется, она всегда питала слабую безумную надежду.

Я тогда только что закончил свою книгу о Пóпе.
Джейн Дин, моя машинистка, предложила ей однажды
Познакомиться с ее двоюродным братом,

Питом Дином. Жених Джейн

Должен был отвезти их всех на своем новом автомобиле
Миль за двадцать в гавайский бар.

Они подобрали Пита в четверть
390 Девятого в Нью-Уае. Слякоть оледенила дорогу. Наконец
Они нашли намеченное место — как вдруг Пит Дин
Схватился за голову и воскликнул, что начисто
Забыл условленную встречу с товарищем,
Который угодит в тюрьму, если он, Пит, не приедет,
И так далее. Она сказала, что понимает.

После его ухода молодые люди постояли
Втроем перед лазурным входом.

Лужи были перечеркнуты неоном; и с улыбкой
Она сказала, что она будет *de trop*** и предпочла бы
400 Вернуться домой. Друзья проводили ее
До остановки автобуса и ушли, но она, вместо того
Чтобы ехать домой, сошла в Локенхеде.

* Неверное ударение передает искажение в оригинале французского термина «engagé» (здесь: исполнены гражданской ответственности).

** Лишней (*фр.*).